

# Война и имперское сознание

Андрей Зорин

## «Зачем люди друг друга убивают?»

(ТОЛСТОЙ И ИМПЕРИЯ)

Andrei Zorin

“Why Do People Kill Each Other?” (Tolstoy and Empire)

**Андрей Зорин** (Оксфордский университет, профессор; доктор филологических наук) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

**Andrei Zorin** (Dr. habil.; Professor, University of Oxford) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

**Ключевые слова:** колониальная война, империя, насилие, кавказские войны, природный инстинкт, нравственное сознание, Толстой, военные рассказы, «Война и мир», пацифизм, «Хаджи-Мурат»

**Key words:** colonial war, Empire, violence, Caucasus wars, natural instinct, moral conscience, Tolstoy, military stories, *War and Peace*, pacifism, *Khadzhi-Murat*

УДК: 172.4 + 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_188\_4\_74

UDC: 172.4 + 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_188\_4\_74

В статье показано, что взгляды на войну Толстого в начале и в конце его творческого пути отличались скорее нюансами и акцентами, чем по существу. Понять кавказские рассказы и «Войну и мир» — значит увидеть в них зерна толстовской философии непротivления злу насилием и его последовательно антиимперской позиции, а осмыслить наследие Толстого-пацифиста невозможно, не уяснив его отношение к насилию как к важнейшей составляющей человеческой природы. Толстой неизменно считал, что защита от захватчиков земли, на которой стоит дом человека, плодами которой он кормится и в которую он ляжет после смерти, укоренена в природном цикле человеческой жизни. Такое отношение к насилию было для Толстого естественным, но доморальным, дохристианским, противоречащим личному нравственному чувству, безусловно противящемуся любым убийствам.

The article shows that Tolstoy's perception of the war in the beginning and in the end of his creative career differed rather in nuances and accents than in content. Understanding of his early stories and *War and Peace* implies seeing here the germs of Tolstoy's consistent anti-militarist and anti-imperial stance while the heritage of Tolstoy's the pacifist cannot be fully interpreted without considering his view of violence as an integral part of human nature. Tolstoy always believed that the resistance to invaders and the defence of land where humans were born, by which products they are fed and where they are going to life after death is natural, but considered this instinct as pre-moral and pre-Christian contradicting the personal moral conscience that unconditionally rejects all sorts of violence.

Не только многочисленным почитателям Льва Толстого, но и исследователям его творчества порой непросто соотнести между собой два его образа. Молодой артиллерийский офицер, участник колониальной войны на Кавказе и Крымской кампании, автор самого знаменитого в русской литературе романа о «народной войне» мало похож на седобородого пацифиста, видевшего в военной службе самое большое зло человеческой истории и отрицавшего само разделение человечества на «племена и расы». Те, кого беспокоит этот когнитивный диссонанс, обычно выходят из положения, говоря о «противоречиях» и даже о существовании «двух Толстых», из которых каждый может выбрать того, кто ему больше нравится.

Толстой, конечно, развивался и эволюционировал, но его путь скорее похож на последовательное приближение к намеченной цели, чем на череду зигзагов и метаний. По словам американского исследователя Ричарда Густафсона, Толстой всегда шел «от переживания (Erlebnis) к образу, а от образа к идее» [Густафсон 2003: 21]. Понять раннее и зрелое творчество Толстого, включая «Войну и мир», значит увидеть в них зерна толстовской философии непротivления злу насилием и его последовательно антиимперской позиции, а осмыслить радикальность этой философии невозможно, не уяснив толстовского отношения к насилию как к важнейшей составляющей человеческой природы и общественной реальности.

В первой в жизни дневниковой записи, сделанной, когда ему было восемнадцать лет, Толстой отметил, что «легче написать 10 томов Философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике» (XLVI, с. 3–4)<sup>1</sup>. Любые теоретические концепты и построения интересовали его только в своем прикладном аспекте и в той мере, в какой они имели отношение к его жизни.

Тема колониальных завоеваний и усмирения покоренных народов появляется в жизни и творчестве Толстого очень рано. В двадцать два года он отправился на Кавказ, где на протяжении десятилетий империя пыталась подавить вооруженное сопротивление горских племен. При этом Толстого волновали не столько отношения имперского центра и его мятежных провинций, сколько война как таковая. После непродолжительных размышлений он поступил на военную службу, а когда началась Крымская война (1853–1856), написал рапорт о переводе в части, непосредственно участвовавшие в боевых действиях на полуострове.

В набросках рассказа «Набег», первого из написанных во время армейской службы, немолодой офицер спрашивает рассказчика: «Так что-ж, вам хочется посмотреть, как людей убивают? — Вот именно это-то мне и хочется видеть, — отвечает тот — как это, человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и убьет его, и зачем?» (III, с. 227). В окончательном тексте Толстой оставил вопрос, но снял ответ — возможно, потому, что в опубликованных версиях и «Набега», и других его военных рассказов как кавказских, так и крымских эта тема не получает подробного освещения. Толстой больше пишет о том, «как люди умирают», — почти все эти рассказы кончаются подробно прописанной смертью одного из героев, и еще больше о том, как люди живут и существуют в непосредственном соприкосновении со смертью.

---

1 Здесь и далее при цитатах из произведений Толстого в скобках указываются том и страница его юбилейного Полного собрания сочинений (М., 1928–1958; 90 т.).

Вопрос, зачем люди друг друга убивают, гораздо подробнее обсуждается в черновых рукописях того же «Набега»:

Как могли люди среди этой природы не найти мира и счастья? — думал я.

Война? Какое непонятное явление <в роде человеческого>. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо-ли, необходимо-ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым.

Кто станет сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных? Но возьмем два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне-ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услышав о приближении Русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит не даром, побегит навстречу Гяурам, который, увидав, что Русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может составить его счастье, все отнимут у него, — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза попаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки Русских? На его-ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите Генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с Горцами, а приехал на Кавказ... так, чтобы показать свою храбрость. Или на стороне моего знакомого Адъютанта, который желает только получить поскорее чин Капитана и тепленькое местечко и по этому случаю сделался врагом Горцев? Или на стороне этого молодого Немца, который с сильным немецким выговором требует пальник у артиллериста? Каспар Лаврентьич, сколько мне известно, уроженец Саксонии; чего-же он не поделил с Кавказскими Горцами? Какая нелегкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати Саксонец Каспар Лаврентьич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями? (III, с. 234—235).

По единодушному мнению исследователей, опирающихся на свидетельство самого Толстого, этот фрагмент был снят из рукописи по автоцензурным соображениям [Гусев 1954: 414] (ср.: [Бурнашева 1999: 168—173]). Действительно, за полгода до смерти, когда родные Толстого, готовившие переиздание его произведений, показали Толстому эту рукопись, ему, по словам Д.П. Маковицкого, «было обидно, что это рассуждение было выпущено». Толстой добавил, что ему «удивительно, как эти самые мысли, что теперь, он уже тогда высказывал» [Маковицкий 1979: 227]. Н.Н. Гусев не сомневался, что Толстой не мог «сам отказаться от такой замечательной и по мыслям, и по художественным достоинствам части своего рассказа» [Гусев 1954: 413—414]. При этом даже черновой набросок, опубликованный в Полном собрании сочинений, оказывается смягчен по сравнению с первоначальной версией. Исследователь приводит ряд еще более выразительных разночтений, содержащихся в черновиках:

У генерала «есть славное имение, славный чин, славная жена и еще много прекрасных вещей, которыми он может владеть совершенно спокойно»; он «не имеет никакой личности ни против одного чеченца», его «ровно ничего не принуждает вынимать свой меч против них». Далее Толстой характеризует почти теми же словами, что и в последующей редакции, молодого офицера, состоящего в свите генерала, и офицера-немца, о котором замечает: «Немца на Кавказе так же странно видеть, как корову в гостиной». Или, быть может, говорит далее Толстой, справедливость на стороне <...> того, который заставил всех находить пользу и удовольствие в этой войне? [Там же: 415].

Как подчеркивает Гусев, слова о том, «который “заставил всех находить пользу и удовольствие в войне с горцами”, могут относиться только к царю и больше ни к кому» [Там же]. Тем самым предвещающая ремарка Толстого об общей справедливости, которая «находится» в этом конфликте на стороне русских, приобретает тоже цензурный, если не прямо иронический характер. Как известно, Толстой мало интересовался общими соображениями, не принимающими во внимание судеб конкретных людей. В черновике рассказа «Набег» Толстой признался, что ему «интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве» (III, с. 229).

Толстой был артиллеристом. Именно появление артиллерии как самого мощного оружия, определяющего исход сражений — «бога войны», как стало принято говорить впоследствии, коренным образом изменило структуру военного опыта. Многотысячелетняя традиция боя лицом к лицу уходила в прошлое. Человек посылал другому смерть, не видя врага. На войне Толстому неоднократно доводилось быть свидетелем того, как пушечная канонада буквально в ключья разрывала людей, сражавшихся бок о бок с ним. Однажды на Кавказе ядро, летевшее в Толстого, ударило в колесо пушки, около которой он стоял, и упало, к счастью, не разорвавшись. Быть может, первым в мировой литературе он увидел рутину массового убийства и написал о ней как о повседневном переживании, даже не вызывающем особого страха.

Важнейшее психологическое открытие, сделанное Толстым на войне, состояло в том, что человек способен спокойно относиться и к своей, и к чужой смерти, если он не отделяет личность, в том числе и свою, от социума, принимая его нормы, которые блокируют даже такие первичные импульсы, как инстинкт самосохранения. «Набег» и вся последовавшая вслед за этим первым опытом военная проза Толстого полны рассуждений рассказчика и героев о храбрости и описаний того, как те или иные персонажи пытаются продемонстрировать храбрость и не показаться напуганными даже перед лицом неминуемой гибели.

Именно в этом всевластии социальных норм обнаруживаются, по Толстому, общие истоки героизма и жестокости. Вместе с тем подобного рода поведенческие конвенции могут иметь моральное оправдание, когда они укоренены в природном цикле человеческой жизни. Для Толстого естественной жизнью живет только человек, неразрывно связанный с землей, на которой стоит его дом, плодами которой он кормится и в которую он ляжет после смерти. Поэтому защита своей земли оказывается для такого человека внутренне мотивированной, даже если она сопряжена с насилием. Стоит заметить, что Толстой обращает особое внимание на то, что один из русских офицеров

поет «французскую песенку», а второй — и вовсе саксонец; культурный мир одного из этих персонажей и происхождение второго показывают, что война совершенно чужда их подлинным человеческим интересам и страстям. Более того, поющий французские песенки офицер, не имеющий никаких причин враждовать с чеченцами, пренебрег ради копеечных амбиций обязательствами перед своими родными и своими крестьянами в России.

Толстой напоминает об оставленных в России родных и в другом эпизоде первоначальной редакции «Набега», вероятно по тем же цензурным соображениям не вошедшем в окончательную редакцию. Здесь рассказчик описывает карабинера, который пытался ограбить и убил молодую чеченку, и вызывает к его совести:

Карабинер, зачем ты это сделал? Я видел, как ты глупо улыбался, когда капитан бил тебя по щекам. Ты недоумевал, хорошо-ли ты сделал или нет; ты думал, что капитан бьет тебя так по нраву, ты надеялся на подтверждение твоих товарищей. <...> Но вспомни о солдатке Анисье, которая держит постоялый двор в Т. губернии, о мальчишке — солдатском сыне — Алешке, которого ты оставил на руках Анисьи и прощаясь с которым ты засмеялся, махнув рукою, для того только, чтобы не расплакаться. <...> — Может быть, тебе в голову не может войти такое сравнение; ты говоришь: «бусурмане». — Пускай бусурмане; но поверь мне, придет время, когда ты будешь дряхлый, убогий, отставной солдат, и конец твой уж будет близко. Анисья побежит за батюшкой. Батюшка придет, а тебе уж под горло подступит, спросит, грешен-ли против 6-й заповеди? «Грешен, батюшка», скажешь ты с глубоким вздохом, в душе твоей вдруг проснется воспоминание о бусурманке, и в воображении ясно нарисуетя ужасная картинка: потухшие глаза, тонкая струйка алой крови и глубокая рана в спине под синей рубахой, мутные глаза с невыразимым отчаянием вперятся в твои, гололобый детеныш с ужасом будет указывать на тебя <...>. — Мне жалко тебя, карабинер (III, с. 234—235).

Впрочем, в «Набеге» убийство все же описано как эксцесс, капитан Хлопов, главный герой рассказа, едва ли не до смерти избивает за это карабинера и почти плачет, отъезжая от тела молодой женщины, но само по себе разграбление аула представлено как вполне рутинная операция:

Генерал въехал в аул <...>. «Ну что-ж, полковник», сказал он, пускай их жгут и грабют; я вижу, что им ужасно хочется», сказал он, улыбаясь. —

Голос и выражение его были точно такие же, с которыми он у себя на бале приказал-бы накрывать на стол; только слова другие. — Вы не поверите, как эффектен этот контраст небрежности и простоты с воинственной обстановкой. —

Драгуны, козаки и пехота рассыпались по аулу. — Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загарается забор, сакля, стог сена, и дым расстилает по свежему утреннему воздуху; вот козак тащит куль муки, кукурузы, солдат — ковер и двух куриц, другой — таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика Чеченца, который не успел убежать. — <...>. Капитан подъехал ко мне, мы спокойно разговаривали и шутили, поглядывая на разрушение трудов стольких людей (III, с. 221).

Вполне в духе социальной теории XX века Толстой говорит о практиках «дискурсивного расчеловечивания». Слово «бусурмане» расподобляет убитую чеченку и ее ребенка с женой и сыном, ждущими карабинера на родине, выводит их из-под действия заповеди «не убий», а представление о дикости горцев поз-

воляет старшим по званию поощрять грабеж и мародерство. Причем ответственность образованных людей, «спокойно разговаривающих и шутящих» на фоне грабежа и разорения, оказывается, по Толстому, неизмеримо выше ответственности самих грабящих и разоряющих. Даже убийцу-карабинера рассказчик пытается увещевать, но для исправления тех, кто отдает приказы и выпускает законы, требуется по меньшей мере чудо. Такой подход составит впоследствии основу политической философии Толстого, которой суждено было вполне оформиться через несколько десятилетий после создания «Набега».

Более того, мужество и стойкость самих солдат, как и некоторых младших командиров, спокойно выполнявших свой долг перед лицом гибели, могли вызывать у молодого Толстого даже восхищение. Об этом написан первый его народный рассказ «Как умирают русские солдаты». Другое дело люди, способные задаваться вопросами или тем более неспособные не задаваться вопросами о смысле происходящего. Тот, кто спросил себя, «зачем люди друг друга убивают», должен или осудить убийство, или оправдать его.

С самого начала героизм русских солдат был для Толстого этически дефектен сравнительно с естественной храбростью горцев, которым нет нужды искать объяснений своей готовности умирать и убивать — они защищают от чужаков свою природную среду.

Другой кавказский рассказ Толстого, «Рубка леса», законченный уже в Севастополе, посвящен тому, что сегодня называется экоцидом, — русская армия систематически вырубала и выжигала леса, откуда горцы обстреливали русские гарнизоны, вынуждая горцев или уходить далеко наверх, где им было почти невозможно поддерживать свое хозяйство, или переселяться в долину, в крепости, контролируемые русскими.

В отличие от «Набега», не сохранилось рукописей «Рубки леса», по которым мы бы могли восстановить предцензурную работу автора над текстом, хотя мы знаем, что «несколько драгоценных черт», по словам Некрасова, опубликованного рассказ в «Современнике» [Толстой 1962: 130—131] (ср.: [Бурнашева 1999: 193]), было цензурой вымарано. К тому же Толстой со времени своего литературного дебюта уже успел набраться печального опыта общения с цензурой и был осторожней и, кроме того, находился под влиянием этнографического объективизма тургеневских «Записок охотника». Толстой признавался, что посвятил рассказ Тургеневу, потому что, перечитывая, нашел в нем «много невольного подражания его рассказам» [Толстой 1962: 124] (ср.: (III, с. 309)). В силу всех этих причин позиция автора не нашла здесь столь прямого и недвусмысленного выражения, как в черновиках «Набега», но тем не менее выражена с достаточной мерой определенности.

Как через столетие с лишним Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» рассказал о счастливом дне в жизни зэка, Толстой выбирает для своего рассказа успешную вылазку, и именно достигнутый успех ясно подчеркивает тотальную бессмысленность происходящего:

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубали леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась

огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой (III, с. 60).

Природный ландшафт, составлявший для целого народа естественную среду обитания, нельзя узнать, и ценой этого достижения оказывается жизнь солдата Веленчука, мужественного, скромного и болезненно честного, принимающего неизбежное с никогда не изменявшим ему спокойным достоинством:

Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению. Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту (III, с. 61).

На фоне этих мыслей офицеры ведут между собой разговор о выгодах и невыгодах службы на Кавказе, о вероятности получить ордена Анны или Владимира, о том, насколько хватает для жизни двойного жалования, которое платят участникам экспедиции, о вымышленных подвигах немца капитана Крафта, рассказывающего, как он брал в один день пятнадцать завалов. Немного поодаль солдаты вспоминают, как им пришлось оставить в горах умирающего товарища. В финале рассказа солдат Жданов, прослуживший на Кавказе двадцать пять лет без отпуска и не получивший за это время ни одного письма из дома, плачет, слушая, как поют «Березушку», его «что ни на есть самую любимую песню» (III, с. 74).

Если в черновике «Набега» Толстой противопоставлял внимание к чувствам солдат во время боя историческому интересу к «расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве», то в «Войне и мире» он взялся за описание этих крупнейших сражений XIX столетия, сочетая изображение чувств и мыслей их участников с анализом «расположения войск» и изложением общей философии войны.

Аустерлицкую битву, окончившуюся страшным разгромом, русская армия вела в чужой стране. Солдаты и офицеры, честно и храбро делавшие свое дело, были готовы умереть за союзников своего императора, но все равно не могли чувствовать физической связи с землей, куда им предстояло лечь, и в этом отношении мало чем отличались от противостоявших им французов. Напротив того, в Бородинском сражении именно русские, подобно чеченцам в горах Кавказа, защищали свой природный мир от захватчиков, и потому их героизм был не просто социальным навыком, но инстинктивной, органической реакцией на вторжение чужеродной силы.

Согласно исторической теории Толстого, исход любого сражения и войны в целом определяется не планами генералов и полководцев, но решимостью каждого солдата. Русская армия на Бородинском поле была одушевлена «скрытым (latente) патриотизмом». Регулярно употребляя в этой формуле французское слово, Толстой одновременно и подчеркивает свое пренебрежение к пространенному в XIX веке языковому национализму (Sprachnationalismus), и придает своей мысли своего рода наукообразие, — речь для него идет о природном явлении, подлежащем естественно-научному изучению.

В чисто военном отношении Бородинская битва тоже внешне скорее напоминала поражение, но для Толстого Бородино было частью грандиозной победы, следствием которого стало полное изгнание французов из пределов

России, которым и завершается батальная часть романа; ни победоносный поход русской армии на Париж, ни лейпцигская Битва народов — самое крупное сражение Наполеоновских войн, завершившееся триумфом русско-прусско-австрийской коалиции, ему не интересны [Lieven 2009: 10]. Как показала в своей книге о «Войне и мире» Ольга Майорова, к провинциям Российской империи, присоединенным в результате разделов Польши, Толстой тоже относился как к чужой земле [Маюрова 2010: 147]. «Мы в первый раз дрались там за Русскую землю» (XI, с. 207), — говорит князь Андрей Пьеру о Смоленской битве, не сомневаясь, что западные губернии, не были «русской землей». Много позже, уже в конце жизни, в рассказе «За что?», Толстой с глубоким сочувствием напишет о польских революционерах, тоскующих о родине в сибирской ссылке.

Пресловутая «дубина народной войны» — один из самых затасканных штампов, по крайней мере, в российской литературе о «Войне и мире». Однако позицию Толстого, проявившуюся в «Войне и мире», никак нельзя свести к апологии войны за национальное освобождение, истолкованной как врожденный инстинкт. Такое отношение было для автора романа естественным и оправданным, но как бы доморальным, дохристианским, противоречащим личному нравственному чувству, которое должно быть столь же присуще человеку, сколь и привязанность к своей земле и своему племени. К исходу Бородинского сражения под воздействием впечатления от гибели десятков тысяч людей это чувство начало смутно пробуждаться в душах тех, кто пережил этот жуткий день:

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало» (XI, с. 263—264).

Это сомнение не могло еще, конечно, укрепиться в душах солдат, продолжавших делать свое «страшное дело» (XI, с. 264). Однако само возникновение этого сомнения «в каждой душе» служит залогом возможности нравственного возрождения человека к жизни, основанной не на животном инстинкте отставания своего, а на любви и осознанном отказе от любого насилия. Такой поворот не может произойти одновременно со всеми, он носит внутренний, личный характер, но, по крайней мере, в душе одного из участников сражения он совершается в полной мере.

Толстой проводит князя Андрея Болконского и через Аустерлиц, и через Бородино. В обоих сражениях он получает тяжелые ранения, побуждающие его переосмыслить свою жизнь. Эпифания, происходящая с ним во время Аустерлицкого сражения, когда ему впервые открываются небо и облака, приводит его к отказу от нелепых мечтаний о славе и величии и пониманию того, что война — «самое гадкое дело в жизни» (XI, с. 211). Тем не менее он вновь отправляется на войну, чтобы убивать французов, вторгнувшихся в его страну и разоривших его дом и — не в меньшей степени — чтобы найти и убить находящегося в армии Анатолия Курагина, отнявшего у него невесту и надежду на семейное счастье.



Толстой называл историю соблазнения Наташи Анатолом «узлом» романа и его «самым трудным» и «самым важным местом» (LXI, с. 180, 184). Действительно, здесь не только определяются судьбы всех героев: прямо Пьера, Наташи, Андрея и Анатоля и косвенно — Николая, Марии Болконской и Сони, но также соприкасаются военная и мирная части повествования. С. Бочаров точно называет поведение Анатоля «агрессией» и сравнивает его с Наполеоном [Бочаров 1978: 68—72]. Страстная ненависть к Анатолю — последнее чувство, с которым князь Андрей засыпает накануне битвы (XI, с. 212).

Впервые в жизни князь Андрей чувствует единство со своим народом и своей землей. Аристократы и крестьяне, солдаты и командиры, разделенные в обычной жизни непроходимым барьером, с началом войны сливаются в едином народном теле. Но и этот стихийный, биологический патриотизм пропадает в Болконском после нового ранения. После Бородинской битвы, очнувшись в лазарете, он видит рядом с собой искалеченного и рыдающего Курагина и испытывает прилив истинно христианской любви к врагу:

И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такую, какую он видел ее в первый раз на бале <...> и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее чем когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце <...>. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую проповедывал Бог на земле <...> вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно (XI, с. 257).

Еще раньше с теми же мыслями сталкивается и Наташа, охваченная стыдом и раскаянием. В начале войны в московской церкви она молится за «ненавидящих нас» и «всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага». Почти сразу же священник начинает читать только что присланную из Синода молитву о «спасении России от вражеского нашествия» (XI, с. 274, 275). Наташа слушала молебн об одолении врага,

но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы (XI, с. 77).

Болконскому и Наташе суждено снова встретиться, и у них обоих появляется недолгая надежда на выздоровление Андрея и новое счастье. Последняя встреча героев и смерть князя становятся кульминацией сюжета романа, после которой действие идет к развязке. Как пишет Толстой, и Наташа, и сестра князя Андрея Марья, глядя на умирающего князя, «видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо» (XII, с. 65).

Толстой описывает этот переход как приобщение к единому источнику христианской любви. Любовь, открывшаяся князю Андрею, вообще не знает границ и не разделяет людей на своих и чужих, исключает чувство привязан-

ности к родной земле, своему народу и своим ближним. Узнав о пожаре Москвы, он равнодушно говорит: «Это очень жалко» (XII, с. 65), — и так же холодно прощается с сыном. Защита отечества, за которое он отдал жизнь, становится бессмысленной и нелепой суетой.

Для Болконского эта мудрость оказывается несовместимой с жизнью. Наташа, напротив, остается жить, находит новую любовь и становится ревнивой женой и заботливой матерью. Земная, биологическая приверженность к «роду» оказывается в ней сильней «любви к врагам». Многие герои Толстого как бы колеблются на этой грани между родовым и религиозным. Платон Каратаев, спасающий Пьера Безухова от отчаяния и духовной гибели во французском плену, представлен Толстым как идеальное воплощение «народной души». Он старый солдат, хотя Толстой и не показывает его участвующим в сражении и оставляет читателей в неведении, доводилось ли Каратаеву когда-либо убивать врагов, и в то же время он исполнен истинной христианской любви, особенно полно проявляющейся в его рассказе о несправедливо осужденном купце, отказавшемся от мести своему обидчику.

В последней, восьмой части «Анны Карениной», завершенной примерно через десять лет после «Войны и мира», один из главных героев романа Константин Левин, в котором читатели без труда распознавали alter ego Толстого, резко критикует участие России в войне в поддержку национального восстания сербов против турецкого владычества. Значительная часть русского образованного общества была возмущена позицией прославленного писателя. Журнал «Русский вестник», где были напечатаны предыдущие семь частей «Анны Карениной», прервал публикацию, против Толстого выступил Достоевский, до того восхищавшийся романом.

Между тем Левин не отрицал войны как таковой, он полагал, что она может оказаться вынужденной и необходимой только тогда, когда опирается на «непосредственное чувство» народа, защищающего свою землю и своих близких, чувства, которого у русских крестьян, составлявших большинство населения России, по отношению к «угнетению Славян» «нет и не может быть» (XIX, с. 388). По сути дела, Левин занимает здесь примерно ту же позицию, что и князь Андрей накануне Бородинской битвы.

Почти сразу после спора о войне с Левиным происходит религиозное обращение, описанием которого роман заканчивается. Мы не знаем, сохранил бы Левин свою убежденность в том, что война и убийство могут в принципе иметь какое бы то ни было оправдание, или он пришел бы к пониманию истины, открывшейся князю Андрею. Религиозное обращение Толстого произошло примерно в те же месяцы, в которые он описывал переворот, случившийся с Левиным, — самого писателя такой поворот привел к твердому и неуступчивому пацифизму. Самое главное изменение, которое произошло во взглядах Толстого, состояло в том, что евангельское учение больше не казалось ему трудно применимым к практической жизни. Напротив того, он пришел к выводу, что только следование букве и духу этого учения придает жизни смысл. Если в ранних рассказах и «Войне и мире» Толстой с огромным сочувствием описывал тяготы солдатской жизни, считая солдат и младших офицеров невиновными в убийствах, которые их заставляют совершать, то теперь он видел в военной службе самое страшное зло, лежащее в основе общества насилия и угнетения.

Человек, надевший военную форму, освобождает себя от обязанности следовать велениям собственной совести, поскольку он убивает по приказу командиров, которые ссылаются на решения царей и премьер-министров, а те, в свою очередь, оправдывают свои преступления мифической государственной необходимостью, замыкая цепь насилия, за которое никто не несет личной ответственности. Свой собственный военный опыт Толстой, не колеблясь, воспринимает теперь как не имеющее оправдание нарушение шестой заповеди.

Проповедь Толстого была в равной мере предназначена всем, и все же острее всего у него болела душа за христианские народы, и особенно, в силу той самой кровной связи с родной землей, которую он продолжал ощущать, за свой народ. Толстой писал, что войны, которые велись в древности, можно объяснить тем, что религиозные представления людей того времени оправдывали и даже героизировали насилие, но взаимоистребление народов, чья религия прямо запрещает проливать кровь, казалось ему лишенным какого бы то ни было разумного объяснения.

В статье «Одумайтесь!», откликаясь на Русско-японскую войну, он поражался тому, насколько милитаристский дух, охвативший оба народа, противоположен моральным установлениям религий, которых они придерживаются:

С одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом (XXXVI, с. 101).

Более того, с точки зрения Толстого люди, даже формально исповедующие учение Христа, в глубине души не могли не ощущать чудовищность происходящего, и именно это сознание побуждало их с особенным остервенением защищать и поддерживать очевидное зло. Убивающие христиане оказываются страшнее убиваемых язычников именно потому, что не могут делать это страшное дело со спокойным сознанием правоты, но принуждены лгать и истерически себя взвинчивать:

Всё это неестественное, лихорадочное, горячее, безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества <...>. Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей), все эти обещания отстаивания грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, <...> все эти шествия, требования гимна, крики «ура», вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, всё это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам, — всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается.

Непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают, но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь неопровержимым доводом в пользу войны то, что дело начато. Война начата, и потому надо продолжать ее (XXXVI, с. 109—110).

С годами ненависть Толстого к колониальному насилию только усиливалась и достигла в последние десятилетия жизни предельного накала [Шифман

1960]. Об имперской войне рассказывает и последнее законченное художественное произведение Толстого, повесть «Хаджи-Мурат». События, описанные в повести, происходили в пору, когда Толстой был на Кавказе, и, возвращаясь к ним, Толстой не оставляет ни малейших сомнений в своих оценках этого периода своей жизни.

Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами <...>. Под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живет несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или еще под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодеяния над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними (XXXV, с. 456), —

говорится в одной из черновых редакций. При этом, в отличие от времени, когда он писал свои первые кавказские рассказы, Толстого не сдерживали цензурные соображения. Печатать «Хаджи-Мурата» он не собирался. В последней обработанной им редакции Толстой пишет об «отвращении, гадливости и недоумении» чеченцев «перед нелепой жестокостью» русских завоевателей. Для горцев уничтожение «этих существ», подобно «желанию истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения» (XXXV, с. 80—81).

В 1851 году молодой Толстой совершенно недвусмысленно отозвался на переход Хаджи-Мурата к русским: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на-днях передан русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость» (LIX, с. 133), — говорится в его письме брату Сергею от 23 декабря 1851 года. Такого рода предательство противоречило и представлениям молодого Толстого о воинской чести и его убежденности в кровной связи человека с породившей его природной средой. Через полвека его оценки несколько изменились. Теперь он не был склонен поэтизировать и тех, кто противостоит захватчикам с оружием в руках.

Своей повести Толстой предпослал небольшое предисловие, в котором рассказал, как, пораженный красотой дикого репейника, он захотел принести его домой и с огромным трудом сумел выдернуть его из земли. Вырванный из почвы, цветок немедленно поблек. Одно время Толстой собирался назвать повесть «Репей». Покинув родные горы, Хаджи-Мурат, как этот репей, погибает. Однако обрекли его на гибель не только безжалостные и тупые колонизаторы. Шамиль, захвативший жену Хаджи-Мурата и угрожающий выколоть глаза его детям, столь же враждебен его миру, сколь и русские генералы, разорившие его аул. Власть единоплеменников и единоверцев по сути мало отличима от власти завоевателей.

В написанном в 1906 году вскоре после завершения работы над «Хаджи-Муратом» и окончания Русско-японской войны «Письме к китайцу», обращенному к китайскому писателю Ку Хунмину, Толстой высоко оценил народ Китая именно за то, что он «до последнего времени на все совершаемые над ними насилия отвечал величественным и мудрым спокойствием, предпочтением терпения в борьбе с насилием. Я говорю про народ китайский, а не про правительство» (XXXVI, с. 290). Проявившееся в начале XX века в Китае, в том числе

в книгах его адресата, «желание силою дать отпор злодеяниям, совершаемым европейскими народами», уже не казалось Толстому естественным народным инстинктом, а вызвало в нем «страх и горечь»:

...если бы действительно китайский народ, потеряв терпение и, вооружившись по образцу европейцев, прогнал бы от себя силою всех европейских грабителей, — чего ему очень легко достигнуть с его умом, выдержанностью, трудолюбием и, главное, с его многочисленностью, — то это было бы ужасно. Ужасно <...> не в том смысле, что Китай сделался бы опасен для Европы, а в том смысле, что Китай перестал бы быть оплотом истинной, практической, народной мудрости, состоящей в том, чтобы жить той мирной, земледельческой жизнью, которой свойственно жить всем разумным людям и к которой рано или поздно должны сознательно вернуться оставившие эту жизнь народы (XXXVI, с. 291—292).

Свирепому и безжалостному воину Хаджи-Мурату остается только безнадежно метаться между двумя сторонами и, в конце концов, героически встретить страшную смерть. Выход, открывшийся Андрею Болконскому, оказывается недоступен «естественному человеку».

## Библиография / References

- [Бочаров 1978] — *Бочаров С.Г.* Роман Толстого «Война и мир». 3-е изд. М.: Художественная литература, 1978.  
(*Bocharov S.G.* Roman Tolstogo "Voyna i mir". 3<sup>rd</sup> ed. Moscow, 1978.)
- [Бурнашева 1999] — *Бурнашева Н.И.* Раннее творчество Толстого. Текст и время. М.: МИК, 1999.  
(*Burnasheva N.I.* Rannee tvorchestvo Tolstogo. Tekst i vremya. Moscow, 1999.)
- [Гусев 1954] — *Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии с 1828 по 1855 г. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954.  
(*Gusev N.N.* Lev Nikolaevich Tolstoy: materialy k biografii s 1828 po 1855 g. Moscow, 1954.)
- [Густавсон 2003] — *Густафсон Р.Ф.* Обитатель и Чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого. СПб.: Академический проект, 2003.  
(*Gustafson R.F.* Obitateľ i chuzhak: teologiya i khudozhestvennoe tvorchestvo L'va Tolstogo. Saint Petersburg, 2003.)
- [Маковицкий 1979] — *Маковицкий Д.П.* У Толстого, 1904—1910: «Яснополянские записки»: В 5 кн. М.: Наука, 1979. Кн. 4.  
(*Makovitskiy D.P.* U Tolstogo, 1904—1910: "Yasnopolyanskiye zapiski": in 5 vols. Vol. 4. Moscow, 1979.)
- [Толстой 1962] — *Толстой Л.Н.* Переписка с русскими писателями / Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. С. Розановой. М.: Гослитиздат, 1962.  
(*Tolstoy L.N.* Perepiska s russkimi pisatelyami / Comp., prep., introd. art. and notes by S. Rozanova. Moscow, 1962.)
- [Шифман 1960] — *Шифман А.И.* Лев Толстой и Восток. М.: Изд-во восточной литературы, 1960.  
(*Shifman A.I.* Lev Tolstoy i Vostok. Moscow, 1960.)
- [Lieven 2009] — *Lieven D.* Russia Against Napoleon. The Battle for Europe 1807 to 1814. London: Allen Lane, 2009.
- [Maiorova 2010] — *Maiorova O.* From the Shadow of Empire: defining the Russian nation through cultural Mythology, 1855—1870. Madison, Wis.: University of Wisconsin press, 2010.